

# Библиография

Татьяна Венедиктова

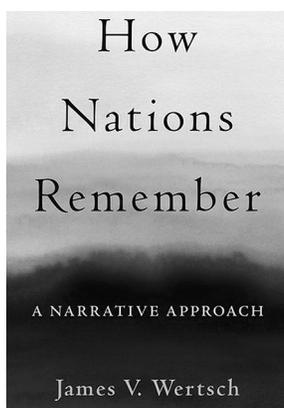
## Между пафосом, скепсисом и прагматическим запросом:

КОЛЛЕКТИВНАЯ ПАМЯТЬ КАК ПРЕДМЕТ  
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ЗНАНИЯ

DOI: 10.53953/08696365\_2021\_172\_6\_290

### Wertsch J.V. *How Nations Remember: A Narrative Approach.*

N.Y.: Oxford University Press, 2021. — XV, 271 p.



Исследовать коллективную память начали почти столетием назад. В 1920—1930-х годах Морис Хальбвакс, Аби Варбург и Фредерик Бартлет осуществили пионерский прорыв, «учредив» новое направление междисциплинарных исследований. Спустя полвека интеллектуальная инициатива Пьера Нора сообщила мемориальным студиям новый импульс развития — сосредоточенность на национально-культурных комплексах, местах памяти, изживании травматического опыта, и примерно в этом ключе поле разрабатывалось еще полвека, обретая относительную стабильность. Сегодня встает вопрос: куда дальше?

По мнению Джеймса Верча<sup>1</sup>, направление дальнейшего движения мысли задается парадоксально-

1 Джеймс Верч — профессор социокультурной антропологии в Университете Вашингтона в Сент-Луисе, автор множества публикаций, в числе которых стоит упомянуть: *Wertsch J.V. Vygotsky and the Social Formation of Mind.* Cambridge, MA: Harvard University Press, 1985; *Idem. Voices of the Mind.* Cambridge, MA: Harvard University Press, 1991 (рус. пер.: *Верч Дж. Голоса разума: социокультурный подход к опосредованному действию.* М.: Тривола, 1996); *Idem. Mind as Action.* Oxford; L.: Oxford University Press, 1997; *Idem. Voices of Collective Remembering.* N.Y.: Cambridge University Press, 2002.

тью переживаемой нами ситуации. Ввиду нарастающей политической активности популистских национализмов мы не можем не заниматься национальной памятью. Но не можем при этом и оставаться в пределах «методологического национализма», то есть принимать нацию как объективную единицу анализа, приписывая ей «субстанциальные» характеристики, такие как «характер», интересы, интенции и проч. Зато мы можем — и в этом состоит принципиальная позиция Верча — сосредоточиться на самой инструментальной памяти, на средствах ее производства, воспроизводства и передачи.

Инструмент не существует отдельно от процессов, практик, контекстов его использования. Инструментальное знание по определению практично — и это же можно сказать о рецензируемой книге. Заявленная в ней теоретическая концепция развернута в массу примеров — безукоризненный профессионализм соединен с тонкой рефлексией личного опыта. В текст второй главы вмонтирована фотография, на первый взгляд бытовая: на дорожке среди березок остановились, по-видимому прервавшись в разговоре, двое. Седой человек в консервативном плаще, с зонтиком (несмотря на явно солнечный день) и некто молодой, долговязый, в стильных усах и по-иностранному ярком свитере. Это профессор МГУ Александр Романович Лурия и Джим Верч, на тот момент его ученик, свежее испеченный «постдок» из Америки. И это май 1976 года, самое начало почти полувекового интеллектуального приключения будущего профессора Верча. Важным ресурсом в этом приключении была разработка идей российского происхождения. А также позиция удивленного, вечно вопрошающего культурного аутсайдера, готовность ставить вопросы как будто наивные, в итоге часто безответные, но стимулирующие методологический поиск. Именно таковы вопросы, организующие рецензируемую книгу.

Почему самоочевидное для меня и таких, как я, оказывается иной раз странным, невероятным, а то и возмутительным для других? Чем богато и чем опасно интерсубъективное пространство, где контактируют «разные памяти, разные миры» (это название первой главы)? Какой из него возможен ход и куда: в тупик враждебного молчания? в облегчение открытого конфликта? в диалог, пусть хромой, но все равно обнадеживающий?

## Формы и формулы национальной памяти

Память нации — метафора, и не для всех убедительная. Уподобление нации субъекту — сомнительный перенос, который позволяет себе «народная» психология, но не чуждается его и серьезная наука. Само по себе это не страшно, даже неизбежно, констатирует Верч: главное — научиться использовать эвристическую силу метафоры, не давая ей окаменеть, приобрести квазинатуральность прописной истины. Помнят всегда и именно индивиды, хотя то, *что* и *как* они помнят, всегда же опосредовано социальными практиками и институтами. Уроки Выготского, Бахтина и Лурии позволяют сосредоточиться на том, как происходит интернализация социального дискурса, как личный опыт взаимообусловлен опытом «мнемонического сообщества».

Исторически нация и национализм относительно новый «проект». От других видов групповой памяти (этнической, родовой или поколенческой) национальная память отличается тем, что опирается на аппараты современного государства. Как про национальный язык говорят, что это диалект, вооруженный армией и флотом, так и про национальную память можно сказать: это социальная память плюс

институты образования и медиа. Именно по этой причине многие склонны думать, что содержание национальной памяти зависит напрямую от властных стратегий, от политических решений, транслируемых сверху вниз. В действительности, возражает Верч, успешность или неуспешность политических мер зависит от массы трудно контролируемых факторов. Человек — существо, живущее воображением, склонное к созданию иллюзий, но ценящее свободу и не терпящее грубой манипуляции. Поэтому «кураторы» национальной памяти (*purveyors of national memory*) далеко не всемогущи. Работа памяти — равнодействующая, сознательных и бессознательных усилий, привычки и живой реакции на новые стимулы.

Идея превосходства критического радио над чувственно-эмоциональной природой человека выглядит в сегодняшнем интеллектуальном климате как пережиток слишком наивного позитивизма: когнитивистику занимает скорее их связь, чем их противоположность. Даниэль Канеман, например, предлагает говорить о «разноскоростных» типах мышления, которые сотрудничают, перенимая друг у друга первенство в зависимости от «вызовов» ситуации<sup>2</sup>. Другой американский психолог, Джонатан Хайдт, известный своими исследованиями интуитивно-бессознательных оснований морали, уподобил человеческое сознание погонщику, сидящему верхом на слоне, при этом «слон — остальные 99% психических процессов — те, что нами не осознаются, но реально управляют нашим поведением»<sup>3</sup>. Отношения между погонщиком и слоном примерно такие же, как у Канемана между системами 1 и 2: сторона, озабоченная управлением и контролем, склонна приписывать себе главенство, и ей действительно принадлежат право и способность осуществлять осознанный, стратегический выбор. Но эффективность таких решений сильно зависит от способности слышать и понимать состояния, привычки и устремления как бы подвластного организма — «слона».

Развиваемая в этой логике концепция Верча предполагает последовательное различение логических ментальных структур и структур нарративных. Первые объясняют, вторые настраивают на соучастие. Узнав, что «король умер, потом умерла королева» (образец минимального нарратива), мы можем — и даже не можем не — предполагать: отчего же она умерла? От горя, от болезни или ее убили? Нарративное мышление предполагает преобразование опыта в рассказ, при этом и наш опыт, и прорастающий из него рассказ многослойны. Если поверхностный слой отсылает к времени, месту, действующим лицам, то слой глубокий от очевидности далек; для его описания Бартлет в свое время ввел понятие *схемы*. Схема — устойчивый паттерн поведения, или цепочка действий, резюмирующая некую повторяющуюся ситуацию, или нарративный шаблон (*template*). Последний не обязательно осознавать, напротив: мы чувствуем себя куда свободнее, не осознавая его (то же можно сказать о единожды приобретенном навыке плавания или езды на велосипеде). Стойкое соответствие формы и значения (код) плюс механизм привычки — вот что такое шаблон.

- 
- 2 Канеман, как известно, различает в психике человека две системы: Система 1 тесно связана с интуицией, работает быстро, без ощутимых усилий и контроля; мы не «раскладываем» ситуацию «в голове», схватывая ее телесно и целостно. Система 2, напротив, предполагает сознательное приложение внимания и умственных усилий. Мысля в Системе 1, мы формируем нарратив, приятный нам своей убедительностью; дисциплина «трудоемкой» мысли, работающей в Системе 2, напротив, может обескураживать, вызывать сопротивление. См.: *Kaneman D. Thinking: Fast and Slow*. N.Y.: Farrar, Straus and Giroux, 2011 (рус. пер.: *Канеман Д. Думай медленно... решай быстро*. М.: АСТ, 2014).
  - 3 *Haidt J. The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics and Religion*. N.Y.: Pantheon Books, 2012. P. XIV.

## Память и история

С точки зрения культурной психологии память и историография неразрывны и противоположны. Часто их трудно различить, но нужно стараться — хотя бы из этических соображений: в противном случае нам останется признать, что правдой о прошлом всегда владеет тот, на чьей стороне сила и влияние.

Основную посылку рассуждений Верча можно сформулировать так: история работает по дискурсивным правилам, которые ставят нарративное мышление под контроль логики, озабоченной объяснением и доказательством. Отсюда стремление историков к объективности и переписыванию уже написанного в свете вновь обнаруженных свидетельств. Память, напротив, стремится к воспроизводству уже опробованных схем-сюжетов, смысловые импликации которых не обязательно рефлексированы (и только «крепчают» в отсутствие рефлексии).

Коллективную память отличает всегдашняя и глубокая убежденность в собственной правоте, в натуральности поддерживающих ее конструктов. Ее главная задача состоит не в выяснении правды о прошлом, а в утверждении идентичности. История же делает другую ставку — на контролируемое сомнение и грамотно упорядоченную дискуссию. Память не отличает давнее от вчерашнего и в этом смысле аисторична, даже антиисторична; история, напротив, старается дистанцироваться от прошлого и тем самым открыть его для непредвзятого анализа. Память не терпит «лишних» усложнений, противоречий, двусмысленностей и потому с готовностью редуцирует событие к мифическому архетипу; она склонна пренебрегать тем в прошлом, что противоречит «интуитивно правильному» о нем представлению. Историю характеризуют педантизм в трактовке деталей, любопытство ко вновь открываемым фактам и неумная изобретательность по части сюжетов: в поле истории они подлежат не консервации, а обновлению. Наконец, и адресат у дискурсов памяти и истории тоже разный. Память подразумевает ответственность перед сообществом/родом, а история — перед профессиональным сообществом, введенными им внутренними правилами и поддерживаемыми в нем протоколами поведения. С учетом всех этих различий ответ на вопрос «Нужна ли история историков человечеству?» совсем не очевиден. Еще Эрнест Ренан в классической статье 1882 г. «Что такое нация?» писал, что для инстанций, курирующих процессы нациеобразования, усилия историков несущественны, подозрительны, а может быть, и опасны. О том, что интересы памяти и истории противоположны, писали и Хальбвакс, и Нора. Правы, однако, и те, кто настаивает на родственности этих дискурсов, каждый из которых предполагает активную работу воображения и построение рассказа. История, болезненно пережившая кризис позитивистской аксиоматики, стоит сегодня перед выбором: отказаться от давнишней, любимой претензии на объективность производимого ею знания или пересмотреть природу «исторической правды», переговорить ее — не в логике отражения и соответствия, а в логике прагматической успешности (по возможности не банально, не близоруко понятой).

Отдавая должное и традиционному для науки объективизму, и постмодернистскому скепсису, Верч предпочитает говорить о *взаимообращаемости* памяти и истории. Нельзя сказать, что история — чистые факты, а память — чистое мифотворчество. Но можно предположить вместе с Яном Ассманом, что «история обращается в миф, как только становится предметом воспоминания, рассказа и использования, то есть как только вплетается в ткань современности»<sup>4</sup>, открывается

---

4 Assman J. *Moses the Egyptian: The Memory of Egypt in Western Monotheism*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1997. P. 14.

определенного рода использованию. Стоит прошлому приблизиться к настоящему и стать для кого-то «нашим прошлым», и оно тут же (незаметно даже для «пользователей») переходит из зоны ответственности истории в зону памяти. Природа различий между ними резюмируется в следующей таблице (с. 95).

<b>Память</b>	<b>История</b>
Отображает субъективный взгляд рассказчика	Стремится к объективности
Дает единую перспективу видения, выработанную сообществом памяти	Отображает множественность точек зрения
Склонна к чрезмерной уверенности и не терпит двусмысленности	Открыта сомнениям, принимает сложность и двусмысленность, включая этическую
Нерефлексивна, бессознательна	Сознательна и рефлексивна
Закрыта для рационализации, обсуждения	Опирается на обсуждение и процедуры доказательства
Рассматривает прошлое в живой связи с настоящим	Изучает «прошедшее прошлое»
Не требует специальной подготовки	Профессиональный дискурс со строгими правилами
Поддерживает нарратив, жертвуя доказательностью	Скорее пожертвует нарративом, чем позволит себе пренебречь доказательствами

## «Шаблон» как инструмент анализа

Третья глава книги Верча — «Национальные нарративы» — начинается с примера того, как работает русский нарративный шаблон, имеющий в трактовке автора примерно такой вид:

1. Исходная ситуация: Россия живет мирно и никому не мешает.
2. Приходит беда — неспровоцированное нападение внешнего врага.
3. Враг силен, Россия опасно близка к уничтожению.
4. Вопреки всякой вероятности, героическим усилием Россия в одиночку побеждает врага.

Разумеется, эту общую схему мы редко или никогда не наблюдаем непосредственно. Шаблон рассеян, растворен в массе частных нарративов, его присутствие мы скорее чувствуем, чем наблюдаем невооруженным глазом, а в доказательство его наличия можем указать лишь на повторяемость наблюдаемого и на готовность

других субъектов заметить замечаемое нами<sup>5</sup>. Так или иначе, шаблон всплывает во множестве усилий «инсайдеров» национального сообщества рассказать об общем прошлом, и неважно, идет ли речь о XIII, XIV, XVII, XVIII, XIX или XX столетии, участвуют ли в ситуации, помимо русских, монголы, тевтонцы, поляки, французы, немцы, турки или шведы... Войны 1812 и 1941—1945 годов, казалось бы, не похожи нисколько. Однако для русских их сходство столь очевидно и несомненно, что два события называются одинаково: Отечественная война.

В отличие от аналогии, шаблон схватывает не сходство, очевидное для всех, а то, что неотразимо убедительно именно и только для тех, кто принадлежит к данному сообществу памяти. В то же время шаблон больше, чем субъективная кажимость: используемый (повторяемый, проверяемый и удостоверяемый) во множестве совершенно непохожих ситуаций, он обретает совсем не призрачную плотность. Безотказное действие национального шаблона памяти Верч усматривает, например, в готовности Солженицына трактовать в равной мере и коммунизм, и капитализм в качестве диверсий Запада, желающего обессилить и погубить русскую цивилизацию, помешать ей в осуществлении уникальной миссии-задачи. Ранее сходный посыл проявлялся в инвективах Достоевского против материализма и социализма, демонических «измов», которым также приписывалось иностранное и враждебное происхождение.

## Другие инструменты: НОС и ННП

Анализируя работу шаблонов, Верч вводит понятие НОС — Нарратив об Особом Событии (PEN — Privileged Event Narrative). Как правило, это нарратив ярко-эмоциональный и отмеченный долгожительством; он повествует о конкретных лицах в конкретной ситуации, но в то же время исключительно эффектно воплощает в себе шаблон. Для русских, например, Особым Событием является Великая Отечественная война, а для китайцев — так называемый век унижений (цепочка поражений, неудачных восстаний, актов вынужденного подчинения внешнему произволу, растянувшаяся на целое столетие — от «опиумных войн» 1840-х до прихода к власти Мао в 1949 г.). Как правило, НОС рождает глубокий культурный резонанс, служит основой для формирования групповых привычек и потому широко используется в политике. У каждой нации свой НОС, поэтому их важно исследовать по отдельности и в соотнесении.

Еще один инструмент обозначается аббревиатурой ННП — Национальный Нарративный Проект (NNP — National Narrative Project). Это своего рода автобиография нации, которая, как и всякая автобиография, имеет начало и середину, а также содержит в себе предвосхищение будущего завершения, устремленность

---

5 «Как американец, который десятилетиями пытался понять представления русских о мире, я выслушал тысячи рассказов об историческом прошлом, но никто и ни разу не отвел меня в сторону, не сказал: “Гляди-ка, Джим, вот она, схематическая форма, лежащая в основе всего, что ты слышишь”. Ощущение общей формы возникало из контактов с частными нарративами, в отсутствие прямого доступа к их общему коду. Сформулировав для себя сюжетную линию о Победе над Вражеским Нашествием, я проверял ее точность, расспрашивая русских коллег, насколько она им кажется знакомой и убедительной, и по большей части они соглашались с тем и другим, тем самым подтверждая, что мой анализ бесчисленных частных нарративов, направленный на поиск нарративного шаблона, шел в верном направлении. Но отталкивался я всегда именно от частных нарративов» (с. 134).

к некоей вдохновляющей цели. Код ННП, считает Верч, лежит еще глубже, чем нарративный шаблон, и еще более абстрактен. Но функция ННП та же — поддержание идентичности, поэтому к нему часто апеллируют национальные лидеры, особенно обращаясь к нации в кризисных ситуациях.

Примером здесь служит опыт американского национального сообщества, которое специфично тем, что основано не на традиционных этнических связях, не на общности территории, а на довольно абстрактной и небесспорной идее. Социализация американца предполагает приобщение к вере в «град на холме»; этот миф транслируется в школе и в медиа, в политической риторике и в бытовых разговорах. Цель американского ННП хорошо описывается формулой из Конституции США: «все более совершенный союз» (a more perfect union). При этом не известно, каким, собственно, должен быть «совершенный союз», и не удивительно, что его созиданию сопутствуют тайные сомнения и постоянный страх неудачи. Демократический град на холме — вечный «недострой», но в то же время (говоря словами президента Линкольна) «последняя лучшая надежда всего человечества». Этот парадокс много кого в Америке раздражал и раздражает: одних он побуждает забегать вперед — считать, что американцы уже «давно пришли» к желанной цели, как платоновские колхозники — к коммунизму жизни, что Америка может служить маяком остальному человечеству; другими же постоянное понуждение себя к образцовости трактуется как вредоносный самообман. В итоге мы наблюдаем непрерывное колебание между самопрославлением Америки как «совершенного», внутренне примиренного единства и признанием ее же многосоставности, которая чревата конфликтами и плодит конфликты. Так или иначе, американский ННП — или национальный квест — создает образ сообщества, которое идет по пути прогресса и на этом пути снова и снова сталкивается с проблемами, снова и снова решая их в пример и на пользу остальному человечеству. Трагизм внутренней разделенности, иные «болячки» в эту картину плохо вписываются, но присутствуют в ней невидимо и неустранимо, а временами обнаруживают себя — как срывы в расизм и насилие.

## Избирательность памяти и хитрости нарратива

Национальная память избирательна (что-то выделяется как важное, а что-то временно прячется или стирается напрочь), но при этом относительно свободна от власти времени. Если социальная память удерживает близкое, потом слабеет (американцы помнят президента, на смену которому пришел нынешний, но чем глубже в историю, тем неувереннее ответы), то у культурной/национальной памяти иная логика. Здесь важна не временная дистанция, а вписанность событий и акторов в сюжет: выпадение из сюжета влечет за собой и выпадение из памяти. Впрочем, нарративный шаблон располагает и такой гибкостью, такой «протеической» способностью преобразовывать информацию, что самые взрывоопасные факты, которые, казалось бы, должны разнести любую структуру в прах, перемалываются ею и даже ее укрепляют.

Избирательность, предвзятость, нарциссизм — свойства национальной памяти, которых ее носитель, как правило, не замечает, зато аутсайдер не может не заметить. «Ну почему, в самом деле, Владимир Путин, говоря об угрозах со стороны НАТО, то и дело поминает Великую Отечественную войну?», — такого рода вопрошание американца у российских собеседников вызывает, по опыту Верча, единообразную реакцию недоумения. В глазах большинства аналогия допустима, хотя и небесспорна, политически мотивирована и т.д. Почему бы, собственно, войну

не поминать? Вторая мировая — центральное событие XX в., вполне достойная призма для рассмотрения актуальных событий с целью извлечения из них уроков. В этой точке разговор представителей разных сообществ, как правило, вязнет: одни продолжают удивляться, другие удивляются чужому удивлению...

Американские воспоминания о войнах, замечает Верч, тоже выстраиваются по определенной схеме, хотя она и не закрепились в виде самостоятельного сильного шаблона. Вариант нарратива о граде на холме повествует о том, как дважды за XX в. несчастная Европа впадала в кровавый хаос, а США приходили на помощь, спускаясь рыцарственно со своего благоразумного холма, чтобы отстоять чужие свободы и восстановить демократию. Та же ядерная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки помнится американцами исключительно как усилие по скорейшему завершению безумия войны и восстановлению мира. В это не верят те русские, с которыми довелось беседовать автору книги, об этом могут иметь разные мнения историки и могут спорить генералы, но население США в целом верит и помнит именно так. Все мы помним историю по большей части «в свою пользу» и, столкнувшись с «инаковой» памятью, реагируем предсказуемо: ну, ясное дело, им промыли мозги. Или: конечно, они не могут не знать, как оно было на самом деле, просто хотят выставить себя с лучшей стороны... Ни то ни другое не исключено, но, успокаивая себя подобным объяснением, мы перестаем думать о чужих и собственных бессознательных нарративных привычках и сами себя загоняем в угол, из которого трудно выбраться.

## Диалог нарративов в национальной памяти

У любого нарратива, включая нарратив национальной памяти, есть диалогическая функция. В реальной социальной ситуации мы никогда не имеем дело с единственным нарративом, как никто никогда не является единоличным автором собственного рассказа: любой нарратор кому-то отвечает, у кого-то что-то заимствует и к кому-то прямо или косвенно обращается. Эту очень «бахтинскую» мысль американский историк Уильям Кронон развивает так: «Мы рассказываем истории *в присутствии* друг друга и *в нику* друг другу, для того чтобы нечто донести друг до друга»<sup>6</sup>. Диалог в социуме часто приобретает сложные формы и совсем не обязательно, далеко не всегда увенчан общим согласием и снятием противоречий.

В многоголосой, поликультурной среде у нас теоретически есть возможность услышать и выслушать чужую, противную версию прошлого, но реализуем ли мы ее практически? Как уже сказано, нарратив памяти по природе своей консервативен, стремится удержать сюжетную целостность, сопротивляется информации, которая могла бы ее разрушить или поставить под вопрос; трансформации здесь происходят лишь в крайних случаях, чаще всего в драматических социальных обстоятельствах. В «норме» нам настолько трудно даже представить себе, что можно помнить не так, как помним мы, что легче пойти на усугубление конфликта между «непримиримыми» версиями памяти, чем терпеливо (и безнадежно?) пытаться этот конфликт разрешить.

---

6 «We tell stories *with* each other and *against* each other in order to speak *to* each other» (Cronon W. A Place for Stories: Nature, History, and Narrative // Journal of American History. 1992. Vol. 78. № 4. P. 1373—1374).

## Школьные уроки истории... или памяти

Нарратив памяти — плод привычки, которая закладывается рано. Школьное преподавание истории, особенно на начальной ступени, отвечает задаче социализации будущих граждан, прививает им чувство общей идентичности, представления об общих ценностях и достойной цели. Но все это задачи скорее памяти, чем истории — отсюда и проблемы. В американском обществе, как и в российском, периодически возникают приступы озабоченности по поводу школьного исторического образования — рисков чрезмерной критичности, «очернения» национальной истории. В 1990-х годах такими выступлениями прославилась, например, Линн Чейни, председатель Национального фонда гуманитарных наук (1986—1993) и вторая леди США (2001—2009)<sup>7</sup>. Пример встречной аргументации «очернителей» дает книга социолога Джеймса Ловена<sup>8</sup>. Ловен, сам в прошлом школьный учитель, проанализировал двенадцать популярных в США школьных учебников истории и показал, что они напичканы мифами, не выдерживающими критики. Что же делать? Прививать учащимся навык (хотя бы самый элементарный!) самостоятельного сбора данных, обоснования с их помощью собственного мнения, полагает Ловен. Не в том, разумеется, задача, чтобы каждый пятиклассник стал профессиональным историком, а в том, чтобы каждый по возможности научился отличать «информированный скепсис» от «нигилистического цинизма» — от ложного и вредного убеждения, что историю общества лучше знает тот, кто на данный момент сильнее.

Верч сочувственно цитирует Ловена, хотя в собственных ратованиях за историческую правду против мифотворческой лжи более сдержан. Как психолог, он убежден: «информированный скепсис» — довольно слабое замещение той богатой гамме эмоций, которых не может не вызывать в нас памятное прошлое. Речь все же идет о двух разных запросах — их трудно примирить и трудно сказать, какой из них важнее. Уместно ли усиленное развитие «критического мышления» в средней и даже начальной школе? Не блокирует ли оно работу центростремительных культурных сил, обеспечивающих ощущение общей идентичности, общего наследства? Подобные опасения высказываются и в США, но в России — шире и громче. Их можно отчасти понять, свидетельствует Верч, но... это как раз тот случай, когда у страха глаза велики: расшатать нарративные шаблоны сообществ куда труднее, чем может показаться.

## Управление национальной памятью

Используя в названии заключительной главы слово «managing» в применении к памяти, автор поясняет в сноске: речь идет не о менеджменте как о социальной инженерии и контроле, а скорее о способах эффективного поведения в реальном мире, где достижение полного согласия маловероятно, если вообще возможно.

Нарратив, как всякий культурный и когнитивный инструмент, рассчитан на некоторый спектр возможных применений (аффордансов), но имеет и свои ограничения. Будучи эффективным средством упаковки информации, а также солидаризи-

---

7 См.: *Cheney L.V.* The End of History // *Wall Street Journal*. 1994. Oct 20. P. A-26 (W), A-22 (E).

8 *Loewen J.W.* Lies My Teacher Told Me: Everything Your American History Textbook Got Wrong. N.Y.: The New Press, 1995. В 2007 г. вышло дополненное издание, в 2018 г. — переиздание с новым предисловием.

зации воображаемых сообществ, то есть культурной политики, нарратив «коварен» тем, что рождает обманчивое ощущение сверх-уверенности, пред-убежденности в «хорошо рассказанной» версии прошлого. Наивно было бы думать, что, просто предъявив объективные исторические факты, мы убедим представителей другого сообщества в истинности собственных представлений о прошлом. «Войны памяти» в каком-то смысле неизбежны. Вопрос: что делать, чтобы перевести такого рода конфликты в максимально гуманное русло, минимизировать их разрушительный эффект? Ответ на него подразумевается общей логикой рецензируемой книги. «Дискуссии по поводу национальной памяти, вероятнее всего, и дальше будут вызывать у участников только фрустрацию, если мы не будем учитывать роль нарративных истин, укорененных в нарративных шаблонах и ментальных привычках, которые их порождают и ими порождаются» (с. 223).

Верч анализирует опыт дипломатов и профессиональных переговорщиков, — тех, кто вынужден что-то делать, как-то выходить из положения в условиях мнемонических коллизий, — и выводит из этого опыта следующие рекомендации. Важно, во-первых, иметь представление о характере национальной памяти конфликтующих сообществ. Во-вторых — понимать логику происхождения основных структур памяти и их наиболее чувствительные точки. И в-третьих — сознавать, что результатом всех усилий может оказаться лишь углубление различий и противоречий. Дороже победы (заведомо призрачной) — сохранение хотя бы минимальной опоры для продолжения коммуникации. Нередко бывает целесообразно просто вынести прошлое за рамки дискуссии. В случаях, когда это не получается или невозможно, следует апеллировать к способности сторон «думать медленно», подвигая осознанной рефлексии бессознательность укоренившихся привычек. Это, конечно же, тоже трудно.

У Уильяма Джеймса есть эссе под названием «Привычка» (1887). В жизни общества, пишет там отец американского прагматизма, привычка — «драгоценнейший консервирующий элемент». Именно автоматизм привычки делает нас свободными, но в иных ситуациях он же оказывается ловушкой, выбраться из которой тем труднее, чем меньше «попавшийся» осознает себя таковым. Против власти привычки «нет приема», кроме, пожалуй, остранения, иронии. Верч ссылается здесь на собственный опыт, а также на опыт Райнхольда Нибура, американского теолога и историка, чей политический реализм питался глубоким протестантским пессимизмом — убежденностью в неискоренимости человеческого несовершенства. Самая известная книга Нибура — «Ирония американской истории» (1952) — это попытка осмыслить историю США в ее неразрешимой противоречивости<sup>9</sup>. Поможет ли ирония справиться с ситуациями, перед которыми пасуют и сила фактов, и сила моральных воззваний, и политическая, и военная сила? Научит ли нас ирония сохранять верность «своему» нарративу памяти, не игнорируя в то же время недоуменных, неожиданных или нежелательных реакций, которые он производит в представителях других сообществ? Гарантий нет, но это не повод впадать в безнадежность. Ирония или когнитивное смирение (*cognitive humility* — понятие, введенное Нибуром), готовность вслушиваться в чужую и собственную речь, вооружившись тактом и навыками дискурсивного анализа, — так выглядит своего рода аптечка первой помощи, которую рекомендует читателю Джеймс Верч. Пожалуй, сюда можно еще добавить «Молитву о спокойствии» («*Serenity prayer*»), написанную тем же Нибуром в начале 1930-х гг. Версию этой молитвы русский читатель

9 *Niebuhr R. The Irony of American History. N.Y.: Scribner, 1984.* См. также: *Нибур Х.П. Христос и культура: избранные труды Ричарда Нибура и Райнхольда Нибура. М.: Юристъ, 1996.*

хорошо знает — она украшала стену оптометрического кабинета Билли Пилигрима в воннегутовской «Бойне номер пять»: «Господи, дай мне душевный покой, чтобы принимать то, чего я не могу изменить, мужество — изменить то, что могу, и мудрость — всегда отличать одно от другого». Эта минималистичная, но емкая формула неплохо работала в разных жизненных ситуациях и в самых разных сообществах — от «Анонимных алкоголиков» до армии США в боевых условиях Второй мировой войны. С трудом формирующееся, пока очень неустойчивое, глобальное сообщество ей тоже найдет применение.